

МИРОВИЧ

Часть первая

ЦАРСТВЕННЫЙ УЗНИК

— Да,— скажут наши правнуки,— им было больно угнетение России.

«Ледяной дом»

I

Курьер из завоеванной Пруссии

Императрица Елисавета Петровна скончалась двадцать пятого декабря 1761 года, в самый разгар войны России с Пруссией. Войска Фридриха были уже не те: лучшие его офицеры убиты или взяты в плен.

За год перед тем отряд генерал-поручика Петра Ивановича Панина овладел Берлином. Казаки, с союзниками-кроатами, опустошили столицу Фридриха II, разграбили в ней до трехсот домов, не пощадили и загородного королевского дворца: изломали в нем дорогую мебель, перебили фарфор, бронзы и зеркала, изорвали штофные и гобеленовые обои, изрубили итальянские картины и разнесли в клочки кабинет редкостей.

Начальники не отставали от подчиненных. Дано было приказание прогнать сквозь строй «Подлипами» берлинских «газетиров» за то, что эти публицисты слишком обидно и дерзко писали о русских. Вследствие такого приказа «противные России, печатные в газетах письма» жгли через палача под виселицей, а сочинителей тех писем вывели на эзекуционс-плац, чтобы наказать, за их противности, шпицрутеном. Генерал Чернышев их помиловал. Одного «дусёргельда»

на вино, на сигары и вообще на угощение русской армии было истребовано от Берлина сто тысяч. Измена командира отдельного русского корпуса, графа Тотлебена, и его арест, с общего совета всех русских полковых командиров, на марше в Померании не изменили рвения победоносной армии. Положение Фридриха было отчаянное. Он из прусского короля стал опять ничтожным бранденбургским курфюрстом. В Кенигсберге поселился русский губернатор, отец Суворова. Вся Пруссия была завоевана и — после роковой надписи Елисаветы «быть по сему» на докладе о ее присоединении — присягнула в подданство русской императрице. В этой новой «губернии» стали вводить русские порядки. В ней явилась русская миссия с архимандритом; начали чеканить русскую монету. И вдруг обстоятельства изменились...

Племянник Елисаветы Петровны, император Петр III, в самый день смерти тетки вошел с обожаемым им королем Фридрихом в переговоры о перемирии. Губернатор Суворов, по именному указу, сдал войска и управление прусским королевством генерал-поручику Петру Ивановичу Панину, а сам уехал в Петербург и стал, из-за долгов, публиковать в ведомостях о продаже своего имущества. За ним, радуясь манифесту «о вольности дворянства», двинулись под разными предложениями в Россию и другие офицеры, особенно штабные. Огорчения обидных уступок забывались. Всех волей-неволей манило из долгого похода на родину...

В конце февраля 1762 года, на курьерской тройке в пошевнях, по пути из Пруссии, в Петербург выехал среднего роста, лет двадцати двух, сухощавый, с черными, строгими, несколько рассеянными и как бы недовольными глазами, офицер из Кенигсберга. Было второй час пополудни. Он спешил застать присутствие в военной коллегии. От въезда в город у Калинкина моста до здания коллегии (Штегельмановский дом на Мойке, у Красного моста, — где ныне Институт глухонемых) офицер всячески торопил ямщика. Десять дней в пути в ростепель и половодье по Литве сильно его утомили. Он вез собственноручные бумаги Панина, с робким, хотя ясным предложением — попытаться продолжать войну. В мыслях офицера рисовался ожидаемый им, полный неизвестности, прием, борьба Панина с дворскими партиями и вероятное сочувствие и поздравления товарищей. Он добрался до коллегии, одернул на себе поношенный

зеленый, с таким же воротом, кафтан и красный камзол, обмахнул снег с черных штиблет и тупоносых, без пряжек, истоптанных башмаков и оправил ненапудренные букли и космы развившейся в дороге светлорусой, запорошенной инеем косы. Спросив в коллегии генерала, к которому вез от Панина еще частное письмо, он сдал пакеты и, измученный дорогой, ожидал, что его станут расспрашивать, готовил в уме ответы, подбирал убедительные слова.

«Войско,— думал он,— рвется сражаться, смелый прожект Петра Иваныча одолеет... Себя не пожалею, всю правду докажу. Лишь бы отечеству польза, лишь бы оценили смелость столь честного и неподкупного командира!..»

Белолицый, важный ростом и повадкой, дежурный генерал Бехлешов прочитал привезенное письмо, остальные бумаги отложил к стороне, пристально взгляделся в посланного, сердито потоптался на месте и, презрительно фыркая, сказал:

— Новости твои, сударь, вовсе не важны... А Петр Иваныч хоть и почтенный патриот, почтенный,— но... да это не твое дело... Война — экие смельчаки! тут о перемирии, а они о войне! Завтра, сударь, воскресенье... а впрочем, наведайся послезавтра...

Офицер вспыхнул. «Ах ты кукла плюгавая, пузырь! — хотел он сказать.— Еще о патриотах судит. Ну да это еще не бог весть какая птица! Что скажут другие, вся коллегия?»

Он вздохнул, вышел, постоял, несколько опешенный, на улице и велел ямщику ехать на Васильевский остров. На сердце у него отлегло. Вид знакомых, когда-то близких мест отрадно повеял на него. И солнце кстати выглянуло и так весело осветило улицы, дома и душу путника.

Проезжая мимо шляхетного кадетского корпуса (дом Меншикова, теперь Павловское военное училище), он снял шляпу и перекрестился; здесь прошло его учение, и отсюда, из кадетов, два года назад, он был послан в заграничную армию. На углу одной из дальних линий и набережной Невы он завидел почернелый забор и ветхую крышу домика, с давних пор принадлежавшего вдове лейб-кампанца Настасье Бавыкиной.

Сердце путника сжалось. Сюда по праздничным дням, бездомный, круглый сирота, столько лет сряду, хаживал он из корпуса в гости. Здесь приветная и твердая нравом, бездетная и сердобольная старуха, Настасья Филатовна, прозванием «царицына сказочница», ласкала его и

в нем, бедном кадете, находила утешение в своем одиночестве и сиротстве. Дом ее был в ту зиму, как знал из ее писем офицер, продан за долги, и его хозяйка переехала куда-то на квартиру, не успев ему сообщить нового своего адреса. Офицер остановился у знакомых ворот.

— Вам кого? — спросил его какой-то мещанин, сидевший под навесом соседнего крыльца.

Офицер назвал Бавыкину.

— Рухнул древний, крепкий столб,— сказал мещанин,— и она, властная, сократилась: из домохозяйки жилицей стала... Приходят, знать, последни времена.

— Да куда ж она переехала? где живет?

— У звездочета какого-то, ученого... Уела ныне нас всех эта анафема — дороговизна... Приступу ни к чему нетути, хоть ложись да помирай... На погорелых, слышно, местах, на Мойке, каменный дом чей-то против Съезжей; а Филатовна во дворе, внизу, в деревянном фатеру снимает — там вывеска портного... Спроси звездочета — всяк тебе там покажет...

Офицер поехал к Синему мосту, а оттуда вправо, берегом Мойки, и остановился против места, где теперь, у пешеходного мостика, помещаются здания Почтамта. Здесь на пустынный и низменный, без набережной и ограды, берег Мойки выходил кирпичный, одноэтажный, похожий на фабрику дом, с высокой трубой. На заборе была вывеска портного. За каменным зданием, в глубине двора, высился обветшалыми стенами другой дом, деревянный, в два яруса, с красною голландскою черепичною крышей. Снизу в верхнюю половину этого дома вела открытая, с площадкой, лестница, навесом для которой служили ветви высокой, в несколько обхватов березы, росшей на дворе у крыльца и, без всякого сомнения, видевшей еще шведов и Первого Петра. Влево, за вторым домом, выглядывал безлистый, обсыпанный снегом сад.

Смеркалось, когда голубая, цвета васильков, тогдашняя общеармейская шинель путника показалась во дворе, где теперь жила Бавыкина. Чуть не потеряв на крыльце истрепанной ветром, с трех углов подвернутой, поярковой шляпы, офицер с тощим чемоданом под мышкой быстро вошел в нижние сени. Он сунул в угол чемодан, шагнул в полуосвещенную комнату направо, оттуда в какую-то «боковушку» налево и, растерявшись, остановился у новой двери. За нею была опять

перегородка. В щель этой двери пробивался свет.

«Верно, тут,— подумал гость, оглядываясь и переводя дыхание,— вот удивится!»

— Настасья Филатовна, здравствуйте! — сказал он, постучавшись в дверь.

— Никакой Настасьи Филатовны здесь нетути-с! — отозвался недовольный суровый голос из-за перегородки.— Дессиянс-академии академик тут живет... извините...

«Что же это значит?» — подумал озадаченный гость.

— Академии-дессиянс академик здесь, бог мой! — добавил нетерпеливо голос.— А к жилище, благоволите, из прихожей налево... но ее нет дома.

Офицер поблагодарил, хотел идти.

— Вы же, извините, кто? — слышалось за дверью.— Как сказать, коли возвратится?

— Заграничной армии курьер, генеральс-адъютант прусского губернатора Панина,— ответил офицер.

За перегородкой слышался торопливый шорох. Дверь отворилась. На ее пороге, в халате, показался высокого роста, лет за пятьдесят, плечистый и плотный человек с умным, усталым, в красивых морщинах лицом, с недоумевающими, добрыми глазами, лысый и с крупными жилистыми руками, из которых в одной была табакерка, в другой перо.

— Из армии? Что вы сказали?.. из Пруссии?..

— Точно так-с... Нарвского пехотного полка подпоручик, ордонанс Панина, курьером с бумагами.

— Знакомец моей жилицы?

— Так точно-с!

Кроткая, ласковая улыбка осветила строгое лицо академика.

— Слышал о вас, слышал... Нежданный гость — тем приятнее. Она и не подозревает. Сколько о вас гадало, толковано. Милости прошу, зайдите пока ко мне...

— Какие же новости? Утешьте, сударь, подарите,— продолжал хозяин,— бьем немцев? Не правда ли? Крошим ферфлюхтеров?..

— Бить-то били, да теперь отступаем и скоро, надо полагать, вовсе вернемся. О перемирии заговорили.

— Что?.. отступаем? перемирие? Да кто ж его предложил?

— С нашей, знать, было стороны.

Табакерка и перо академика полетели на стол.

— Как? мы? о мире? да вы шутите? — вскрикнул дебелый, широкий в кости академик, дрожащими руками оправляя на плечах потертый серый китайчатый халат.— Ах, дерзость! Ах, наглость и стыд! Батюшки! После стольких-то побед!.. Голубчик, молодой вы человек, с дороги озябли... устали... садитесь... Лизхен! Лизавета Андревна! Леночка! чаю, самоварчик ему... умываться скорей...

— Bitte, bitte, gleich!^[1] — отозвался женский голос из соседней комнаты.

— Извините,— поклонился офицер,— ваша жилица, Настасья Филатовна, мне старая благодетельница...

— Знаю, не обидится... Мы с ней почаству толкуем... архива всяких преданий!..

— Где ж она?

— К вечерне, должно, ушла. Переждите: вот, пожалуйста сюда, в комнату моей дочушки, Леночки; но осторожней. Тут у меня, как у крота, переходов да всяких клеток. Каменный дом под фабрику мною строен; а этот с садом уцелел от пожара,— в старину еще, другими наложен. Внизу у нас жильцы и женино хозяйство; наверху ж мой рабочий кабинет, инструменты, электрические батареи, подзорные трубы, реторты да колбы...

В комнату, куда академик ввел гостя, вбежала с полотенцем и со свечой улыбающаяся девочка лет тринадцати, тоненькая, белокурая, в локонах, голубыми глазами и улыбкой похожая на отца. За нею, с тазом и кувшином воды, повторяя снова: «Bitte, bitte», вошла еще красивая, полная, в белом фартуке, чепце и с засученными по локти рукавами, жена хозяина. Все они и самые комнаты, теплые, уютные, казались офицеру такими добрыми, ласковыми.

— Вот вам, голубчик вы мой, мыло и вода! — сказал академик, когда дамы ушли.— Делайте свой туалет без церемоний; а я — простите за любопытство — еще кое о чем вас спрошу... Так, перемирие? Ах они окаянные, слепцы...

— Панин хочет поправить дело и прислал рапорт: жалко, армия стремится к бою.

— И что ж? есть надежда поправить дело?

— Бог весть, как посудят; союзников нынче, сказывают, у Пруссии немало и здесь.

— Рвань пороссячья! Каины! Черти особые, их же и крест российский не берет! — шагая по горенке, сердито вскрикнул академик.— Иродовы души! травка гнусная, фуфарка!..

Он закашлялся и, поборая волнение, остановился у стемневшего окна.

— Бес шел сеять на болото всякие плевелы и дрянь,— сказал он, не оглядываясь,— да и просыпал нечаянно это зелье — фуфарку; ну, из него и родился весь немецкий синклит: сам старый лукавец Фриц, его генералы Гильзен и Циттен, а с ними и наши доморослые колбасники — Бироны, Тауберты, Винцгеймы и вся братия... И их еще не ругать? Вздор! — обернулся и махнул кулаком академик.— Я их ругаю за нелюбовь к кормящей их России, позорно, в глаза, самую сугубую и их же пакостною немецкою бранью. Говорю ж с ними в конференции не иначе как по-латыни. Не выносит их бунтующая против такой напасти и такого бесстыдства душа.

— Но их сила, господин академик! — произнес офицер.— Не лучше ли иметь с ними волчий зуб да лисий хвост?

— Один волчий зуб, без всякого хвоста! — более и более раздражаясь, крикнул академик.— Не церемонюсь я с несытыми в алчной злобе проходимцами и потому у них не в авантаже... Таков, сударь, моей природы чин и склад!.. Ах, дерзость! Ах, нескончаемая лютость, поправшая всякий естества закон... Так это правда? Успела голубица мира, успел Гудович доставить масличную ветку в Берлин? Боже-господи! Ужли ж побежденному королю вверить судьбы российской исконной политики? Да этого, друг мой, Россия с ордынских баскаков не видывала...

— Жил я между немцами,— сказал офицер,— извините, хоть и враги наши, а у них хорошо: порядок, науки.

— Да нас-то они ненавидят, не признают. Бить бы тамошних до конца, здешние бы присмирели!.. Ни одобрения к возрастанию родных наук, ни чести по рангу, ни внимания к каторжному, в здешнем крае, ученому труду! Я мозаику, сударь, я стеклянный завод завел, а они — конюхов да сапожников креатуры — жалованье мне завалящими книжками из академической лавки платили. Я открытия делал, оды писал, а с меня, когда я жил в казенном доме, деньги за две убогие горенки высчитывали. Истомили меня, истерзали кляузами... Поневоле другой стал бы пригинаться, слабеть, как иные — не хочу их называть

— Лазаря знатным барам петь, на задних лапках за подачкой стоять... Да не буду стоять! не буду подличать!.. Друзья у меня не по знатности — по гению и по усердству наук... И душа моя, сударь, плебейская, поморская... Воспитал ее в соловецких беломорских зыбях студень, надполярный океан... Оттого-то ветер соленый, морской ходит в ней, бушует почаству...

«Вот человек, открытая, смелая душа!» — подумал офицер, с горячим, почтительным сочувствием глядя на матерого плебея-академика, с распахнутою, могучею грудью, шагавшего перед ним в стареньком китайчатом халате.

— Ох, извините,— сказал тот, остановясь,— вы привезли зело печальные, волнующие вести; не удержишься. А потому,— вдруг добавил он, понижая голос и как-то детски робко оглядываясь на дверь, — если вы в сей момент, как военный, походный человек, готовы и расположены, то померкайте тут с вашею старою приятелькой, а через час, через два за калиткой будет стоять договоренная мной городовая коляска... Дома, в горницах, беседовать по душе тесновато... Я ж проболел и давно не выезжал. Так мы с вами, сударь, коль согласны, поедем в герберг к Иберкампфу; сыграем на бильярде, разопьем бутылочку и потолкуем обо всем на свободе...

— Не по рангу мне, господин академик... притом же дорога... мои финансы...

— Полно, полно, друг. Давно, я говорю, соблюдал лечебный дигт, ну и пост; а сегодня вот кстати и жалованье из конференции прислали... Поедем; там, государь мой, устерсы фленские, анкерки токайские, бургонское и особый, скажу вам, новоманерный пунш...

Дверь распахнулась.

— Какой пунш? кто пунш? — вскинув руками, произнесла на пороге полная, седая, но еще румяная и бодрая, в темной душегрее и в такой же кичке, с калитой и ключами у пояса, шестидесятилетняя старуха. Это и была свет-матушка, древний, властный столб, Настасья Филатовна.

Она взглянула на офицера, отступила.

— Вася, ой, да стой же... что это?.. Василек, голубчик ты мой! — вскрикнула и повисла на шее гостя старуха.

Смуглые, обветренные щеки офицера дрогнули. Он горячо припал к Филатовне, с радостными слезами безмолвно обнимавшей нежданного гостя.

— Ох, милый, вот так утешил,— сказала она,— иначе, стой... Так и есть, не стыдно ли? Не село, не пало, а уж и за компанство, за пунш... Да и вы, ваше высокородие,— хоть и хозяин мой... Стыдно! Вот я супружнице вашей все отлепортую...

— Долг гостеприимства, сударыня,— ответил, глядя на офицера, академик.

— Гостеприимства! А ты? — ласково обратилась к гостю, по уходе хозяина, старуха.— Ну-ка, испиватель пуншей, кадет, рассмотрю, каков ты нынче стал.

Бавыкина обвела его свечой.

— Сердечный мой, радостный! Едва тебя спознала! Вот она, походная-то доля, как возмужал! Ну, ангел мой Васенька, пойдем же в мою конуру,— не своя теперь, чужая...

Они прошли в сени, за которыми Бавыкина снимала две комнаты.

— Вася! соколик мой! — сказала, припав опять к гостю, старуха.— Повидала я тебя, а не чаяла более... Не такую ты оставил вдову сударя Анисима Поликарпыча... Дуб оголелый нынче я... облетели все листочки, ветром ошарпало их, сдуло... Не в этакой узкости и тесноте суждено было век доживать. Ах! И где-то, Вася, те счастливые да шумные старые годы?..

Вдова Анисима Поликарпыча — кто не знал общей печальницы и утешницы? — самой государыне Елисавете Петровне угодила, бессонные ночи ей грешным рабьим языком коротала. Сильно скучала иной раз ласковая царица, и хаживали ее утешать из предместьев да с базаров бабы-цокотухи, умелые, бедовые на язык. Хаживала и лейб-кампанша Настасья. Сидит, бывало, ее величество в кофте да платочке поверх русских, пудренных волос и спрашивает гостью:

— Отчего ты, Филатовна, темна будто становишься?

— Старею, матушка, запустила себя, ласковая; прежде пачкалась белилами, брови марала, румянилась... Нынче все бросила...

— Румяниться не надо,— говорит царица,— а брови марай... Ну, сядь же, соври про разбойников или про какие иные дела.

— Казни, всевластная, невмочь; вся душенька во мне трепехнется...

— Отчего ж она у тебя трепехнется? — смеется государыня.

— Как иду к тебе, милостивая, будто на исповедь, а вышла, точно у причастия была...

И припадет Настасья к постели царицы, ножки, юпочку ее целует, до

утра ей тараторит.

— В чем счастье, Филатовна?

— В силе, матушка государыня, в знатности да в деньгах. По деньгам и молебны служат.

— А горе в чем?

— Без денег, всемилостивая.

— Да ты, нешто, ведьма, жадна?

— Жадна, ох жадна и все, пресветлая, что пожелаешь, возьму...

Деньг — ох! — она ведь и попа купит, и Бога обманет...

Весело царице.

— Вот, было в старые годы...— начнет Филатовна и говорит про все, что видела и слышала на свете, на долгом веку.

Фавориты ее побаивались, и сам канцлер Бестужев, в праздники, посылал ей подарки — муки, меду, пудовых белуг и осетров. И хоть недолго Филатовна пожила за вдовцом, сержантом лейб-кампании, зато всласть, в полную волю. Анисим Поликарпыч нередко загуливал и буянил, но уважал Настю и тоже побаивался, а по смерти отказал ей дом на Острове у Невы. Падчерицу она пристроила за повара графа Разумовского, но вскоре ее схоронила и осталась круглой сиротой. Зато кто ее не знал? Совет ли дать, навестить ли в горе, похлопотать ли за кого — ее было дело. Не только светские, духовные ее уважали. Церкви Андрея поп взял ее к себе кумой. Дом, хозяйство Филатовны славились в околотке. Сама она стряпала, окна и полы мыла, без очков на старости лет шила бисером, золотом, копала огород и доила коров. И не раз сама государыня Елисавета Петровна лично удостоивала ее заездом к ней — малины тарелку откусать, прямо с кустов, либо выпить из холодильни стакан свежего, неснятого молока. И деньги водились у Филатовны. Они-то ее и погубили. Отдавала она их тайком богатеньким господам в рост. Но попутал бес. Одна знакомка дала совет. Погналась Бавыкина за большим барышом, ссудила немалый куш известному гвардейскому моту и всю казну потеряла. Хотела извернуться молчком; поплакала, погоревала и заложила свой участок банкиру Фюреру, но не выдержала срочных платежей, и дом ее со двором были проданы в начале той зимы с молотка.

Таков-то безлистый, оголелый на ветре дуб стоял теперь перед залетным гостем.

— Ну да что тут, садись, соколик,— сказала Бавыкина офицеру.

Они сели.

— Не те времена, Вася; все ушло, все улетело, как почила наша пресветлая благодетельница... Что сберегла добра, рухлядишки, все перевезла сюда... Остальное — разобрали люди.

— Ничего! даст бог, поправитесь; вот я приехал — подумаем...

— Поздно, друг сердечный, поправляться да думать. Другим, видно, черед настал. Вот, к грекне к одной в никанрши зовут, за хозяйством глядеть; приходится внаймы на старости лет... Все прахом пошло... А я мыслила о тебе, тебе сберегала... Ну, да вой не вой, на то и велика рыба, чтоб мелких-то живьем глотать... Поведай лучше о себе.

Офицер вздохнул. Речь не слушалась. Два года разлуки немало унесли молодых ожиданий, веры в счастье, надежд.

— В карты, Вася, по-былому, извини, играешь? — спросила, взглянув на него, старуха.— Да ты не сердись: дело говорю.

— Что вы, помилуйте,— ответил гость,— жалованье какое! а тут, сами знаете, походы, контужен был,— до того ли?.. притом...

Офицер хотел еще что-то сказать; слова ускользали с языка. По лицу прошло облако. Глаза смотрели рассеянно, куда-то далеко. У губ обозначилась сердитая, угрюмая складка.

Бавыкина покачала головой.

— Ужли и там не забыл? — спросила она.

— Вот пустяки, охота вам...

— Да ты, вьюн, не финти; говори, в резонт спрашиваю.

Офицер встал, оправил волосы. Точно отгоняя тяжелую мысль, он провел рукой по лицу, подумал и снова молча присел к столу.

«Так, так, из-за нее,— мыслила тем временем старуха,— из-за Поликсены ты и приехал, чуть смог вырваться оттоль... Знаю тебя! От гордости молчишь — а сам бы кинулся, готов просить: голубушка, родная, здорова ли она, жива ль?»

Офицер, сгорбившись, молчал. Филатовна не выдержала.

— Не закусишь ли с дороги? Молочка, сбитню не согреть ли?

Гость отказался.

«Ну, бог с ним, сердечным, усталость, знать, одолела».

Старуха постлала ему постель в собственной спальне, дала ему огарок свечи, а расспрос о сердечных его делах отложила до другого раза: «Всяк божий день не без завтрашнего».

Офицер разделся, достал из чемодана святцы и образок, поставил

его в углу на столе, раскрыл святцы, рассеянным взором прочел несколько страниц, перевел глаза к темному окну и долго молился, кладя земные поклоны и прося у Бога нового терпения и новых сил.

«Родина, дорогая родина! — мыслил он.— Вот она наконец, и я опять среди нее... Храм Соломона!.. далеко, кажется, до него... На чем-то они теперь стоят, чего держатся? Осветил ли их хоть малость свет истинной жизни, свет разума и вышней братской любви? Или все тот же этот край, хмурый, неприветный, запустелый и веющий холодом?..»

— Что? лег спать? — переходя, спросил Бавыкину, встретясь с нею в общих сенях, академик.

— Спит,— нехотя ответила Филатовна,— еще бы! намаялся сердечный: столько дён сломя голову скакал. А вам, сударь, что до него?

— Да я так, новостей он привез, и любопытство расспросить.

— Ну, только, уж извините, это завтра...

— А как бишь, не упомянул, фамилия этого вашего гостя?

— Родом малороссиянец, и имя ему Василий Яковлевич Мирвич...

Сызмальства... Да что! спокойной ночи, сударь... Только опять же советую, хоть вы и хозяин,— не держите долго огня... Все-то у вас бумаги да книжки... пожар еще, упаси господи, не напроворили б... и то вот на погорелом дворище построились...

«Ишь козырь, доброобычайная старица, как распекает! — улыбнулся академик, с потупленной головой вновь пробираясь в свои горницы.— Да оно и лучше! и здоровью легче. Вот печень намедни как было опять разгулялась! И дел, по правде, не оберешься. Мозаику кончать, о метеорах писать... Баста!.. Скудель тесная — существа предел!.. Прощай, бывшие годы!.. *Mens sana in corpore sano*»[\[2\]](#).

— Настасья Филатовна, кто, скажите, ваш хозяин? — спросил Мирович из спальни, уже впотьмах.— Я и забыл осведомиться.

— И этот тоже! да что с вами поделалось?.. точно сговорились! Пара он тебе, что ли? Коллежский советник — почитай, бригадир... Спать пора! индо напугал.

Василий Яковлевич Мирович крепко заснул. Мир давно забытых картин охватил его. Ему грезились давние, детские и отроческие годы, угрюмая Сибирь, потом украинский тихий хутор, старый заповедный лес и пчелы, бедность и горести некогда богатой и знатной, потом гонимой судьбою, разоренной и обедневшей семьи.

II

Прошлое Мировича

Предок Мировича во время казни гетмана Остраницы был в Варшаве, с другими пленными казацкими сотниками, прибит гвоздями к осмоленным доскам и сожжен медленным огнем.

Его прадед, Иван Мирович, переяславский полковник, был бешеной храбрости человек. Гетман Мазепа выдал за него, вторым браком, выписанную из Польши свою сестру, Янелю. Разгромив татар у Перекопа и Очакова, Иван Мирович возил в Москву пленников и пушки и, возвратясь оттуда с щедрыми подарками, начал строить каменный переяславский Покровский собор, но вскоре скончался. Здесь, по его заказу, на большом запрестольном образе, весьма схоже, был изображен Петр I, возле него гетман Мазепа и духовенство, поодаль придворные дамы, народ и казацкое войско, а над всеми, в облаках, покров эллинской Божьей Матери. У этой еще не оконченной церкви, по преданию, гетман Мазепа, поскользнувшись, упал с конем.

— Не к добру,— сказал народ и вспомнил это после Полтавского боя.

Сын Ивана от первого брака, Федор Мирович, был генеральным есаулом Орлика. Посланный вельможным дядей-гетманом в Польшу, под команду Паткуля, завзятый рубака, Федор Мирович не вынес «муштры» немца, бывшего казаков палками, и возвратился с данным ему полком в Украину. Мазепа отплатил племяннику. В 1706 году огромные силы шведов осадили Мировича в Ляховичах. Мазепа, сославшись на половодье, не доставил ему помощи. Брошенный своими, теснимый врагом, полковник Федор Мирович сдался с отрядом и был увезен в цепях в Стокгольм. Церковь в Переяславле, заложенную его отцом, достроила впоследствии его жена, племянница гетмана Самойловича, Пелагея Захаровна, урожденная Голубина. Освободившись из плена, Федор Мирович жил некоторое время в Турции, потом в Варшаве у Вишневецкого, где и умер. За сношения Федора Иваныча с угнетенной родиной Петр I сослал его жену и

сыновей в Сибирь и отобрал в казну имения не только виноватого перед ним Федора Мировича, но и ни в чем не повинной его жены.

Юных сыновей Федора Иваныча государь спустя некоторое время помиловал. Мировичей отпустили из Сибири в Чернигов, к их дяде, знаменитому Павлу Полуботку, который в 1723 году отвез их в Петербург и поместил, для прохождения наук, в академическую гимназию. Здесь они были недолго. Полуботок кончил жизнь в крепости, племянники остались без средств и от бедности бросили науку. Старший из них, Петр, получил место секретаря при дворе великой княжны Елисаветы Петровны; младшего, Якова, взял к себе из милости польский посланник, граф Потоцкий, с которым тот побывал и в Польше. Но было вскоре перехвачено письмо Петра Мировича в Варшаву к отцу с копией указа о Полуботке и с известием о притеснениях малороссийского народа. Братьев опять арестовали и перевезли в Москву, потом в 1732 году снова выслали, под видом боярских детей, в Сибирь, где Петр Мирович дослужился места управителя заводской Исетской конторы, а впоследствии даже был назначен воеводой Енисейской провинции.

Во время коронации Елисаветы в Москве бывший еще недавно певчий цесаревны, Алешка, теперь же всемогущий и вельможный граф Алексей Григорьевич Разумовский, напомнил императрице о судьбе своих забытых земляков, Мировичей. Государыня лично в Сенате, в 1742 году, объявила именным указом, которым обоим братьям Мировичам, после вторичной десятилетней ссылки в Сибирь, даровалось прощение и предоставлялось служить, где они захотят. Они пожелали докончить век на покое, на родине, куда, после некоторого пребывания в Москве, и переехали.

Старая «Мировичка», мать Петра и Якова Федорычей, Пелагея Захаровна, была отпущена из Сибири в Малороссию двумя годами позже сыновей. Тщетно она подавала из ссылки и из Малороссии прошения царицам Анне и Елисавете, умоляя их о возвращении ей если не мужниных, то хотя бы части ее собственных, приданных и благоприобретенных имений. На все ее прошения были получены отказы. Некогда вельможная пани есаульша, родня по мужу Полуботкам, Мокиевским, Забелло и Ломиковским и жена гетманского племянника, Пелагея Захаровна умерла, по возвращении на родину, в бедности. Богатая и знатная, также ограбленная ее родня не туда

смотрела, сыновья пособлять не могли, а что получала она от немногих старых друзей, употребляла на доделки не конченного свекром и мужем собора.

Отставной енисейский воевода, Петр Федорыч Мирович, был нрава буйного, заносчивого и дикого. В Сибири он, между прочим, был одно время под следствием за то, что в качестве управителя Енисейской провинции явился в воеводскую канцелярию в халате и в колпаке и там перед зеркалом обругал первостатейных купцов самыми непотребными словами. Следователи, впрочем, его оправдали. Возвратясь из Сибири в Москву, а потом на родину, он не укротил своего нрава. Будучи беден и горд и доживая век где-то в глухом местечке, на небольшом пособии от какого-то соседнего магната, он никому не уступал и умер от запоя, изрубив перед кончиной полицейского офицера за то, что тот перед ним не снял шляпы.

Брат Петра, Яков Мирович, был нрава кроткого и тихого, притом с детства слабый здоровьем. Наука ему плохо далась. Петербурга, где он некоторое время был в академической гимназии, как и нахождения у Потоцкого, он почти не помнил. Во время первой ссылки, в Тобольске, он обучался в школе у некоего «несчастливца» Сильвестровича, который хорошо играл на скрипиче, но по-русски почти не говорил. Женившись на небогатой купеческой дочке Акишевой, во время пребывания в Москве, Яков Федорыч, при жизни матери и брата, кое-как еще содержал семью. По смерти же их он впал в окончательную нищету, овдовел, огрубел и, одичав от бедности, уж мало чем отличался от любого простолюдина-батрака: ходил в сермяге и в дегтярных сапогах и нанимался у соседей-помещиков то в ключники, то в объездные, торговал некоторое время водкой, гонял на продажу гурты скота, а состарившись и не видя себе ни в чем удачи и успеха, сел у хуторянина — кума Данилы Майстряка, в лесу на пасеке, глядеть пчел. Кум Данило держал от какого-то графа на аренде клочок той самой земли, которая была отнята у отца Мировича.

— Тут и умру! — сказал себе Яков Федорыч, сидя у старого омшаника, в заповедной, медвяной яворщине кума.— Сложу здесь кости! Земля все-таки наша...

— А сын? а дочери? — спрашивал себя старик.

У Якова Федорыча Мировича от рано умершей и такой же, как он, плохой здоровьем жены остались четверо детей: три дочери, Прасковья,

Аграфена и Александра, и сын Василий. Дочек разобрали по рукам добрые люди. Мальчик подрастал при отце.

Зимой Вася учился на хуторе у дьячка, летом помогал отцу у пчел, носил ему в лес обедать и ужинать, плел корзинки, строгал бабам ложки и веретена, играл на дудке и торбане. Кто-то забросил в реку серого щенка; Вася с плачем кинулся, чуть не утонул, но успел его спасти и вырастил.

Раз услышал отец, как его десятилетний Василь в церкви поет и читает Апостола, и задумался.

«Нет, ему жить не в лесу, не на селе! — сказал себе Яков Федорыч. — Другим удастся — попытаюсь и я о нем! Все же он дворянской крови... Предки знатные были и не под тыном валялись... А царица Лизавета Петровна до Украйны милостей своих еще не замуровала в стену...»

Думал он долго и решился наконец устроить судьбу сына.

Это случилось восемь лет назад, а именно в 1754 году.

Был жаркий летний день.

Из Малороссии в Петербург, на паре волов и на простом мужицком возу, приехал путник — высокий, костлявый, лет за пятьдесят. Он был в долгополой черной свите и в серой барашковой шапке. Сам сед, а черные глаза, как угли, светились из-под насупленных бровей. На возу у него сидел мальчик, лет тринадцати с небольшим. У воза шла серая лохматая собака. Ехали они проселками, продовольствовались волов на подножном корму, сами питались сухарями. Отправились из дому в середине апреля, прибыли в Петербург в начале июня. В дороге, следовательно, находились почти два месяца. То были Яков Федорыч Мирович и его сын Василий.

Остановились они на отдых на обширном, поросшем густою зеленою травой Адмиралтейском лугу (нынешняя Исаакиевская площадь с новым садом). Выпрягли волов, умылись в Неве, Богу помолились и закусили. Мальчик, болтая босыми ногами в реке, заметил под бастионами крепости (на месте нынешнего Адмиралтейского бульвара) стадо пасшихся на траве придворных коров и подогнал к ним своих круторогих. Старик вынул из-за пазухи бумагу, долго думал над ней, сунул ее опять на место и, с кнутом в руке, пошел кого-то отыскивать по Невской «першпективе».

Мальчик, тем временем, вышел с собакой на площадь и стал разглядывать город. Все его занимало: красота и обширность зданий, пушки на бастионах, шум уличной езды и суета рабочих, с криками и песнями выгружавших в то время с канала, у нынешней разводной дворцовой площадки, последний камень, кирпич, громадные бревна и доски для постройки тогда заложенного Растреллием нынешнего Зимнего дворца. Залюбовался мальчик и золотыми, ярко горевшими на солнце шпицами Адмиралтейства, Петропавловского собора и прежней Исаакиевской церкви, стоявшей близ того места, где теперь памятник Петру. Обернулся мальчик назад; перед ним, в бесконечную даль, тянулась, вся в яркой зелени густых, в четыре ряда, высоких лип, Невская перспектива. А по ней шли нарядные господа, скакали верхом военные, мчались цугом раззолоченные кареты.

Яков Федорыч, со словами: «А будьте ласковы, скажите, где тут?» — снимал шапку чуть не перед каждым прохожим. Все дивились на него, на его речь, одежду и на почернелое от зноя, с седыми усами, лицо. Прохожие пожимали плечами и шли далее. Горожанам было не до него; да украинца редко кто и понимал.

Понял и выслушал Якова Федорыча случайно встреченный им у тогдашнего деревянного Аничкова моста некий важный и с виду гордый человек. С двойным подбородком и объемистым животом, этот господин, отдуваясь и еле передвигая ноги, шел в вощанковой зеленой шляпе, в голубом камзоле и в красных башмаках.

День был душный. Незнакомец, несмотря на свой наряд, нес с живейного рынка, бывшего за мостом, на Литейной, в одной руке — пучок зелени, а в другой — пару перевернутых вверх ногами живых каплунов. Мирович с поклонами передал и ему, в чем дело. Пузан оказался землячком.

— Так тебе, землячок, графа Разумовского? — сказал он, поморщившись и крякнув.

— Его ж, его ж... Розума нашего и кормильца!..

— Квартирует он в самом царском дворце, а с месяц, за переделками там, вот где проживает! — гордо ткнул пучком зелени важный господин, указывая, через поросший травой берег Фонтанки, на жестяные куполы Аничкова дворца.— То будет его хжка... Царица ему подаровла... Что, хорошо?

— Фить-фить! — засвистал удивленно старый Мирович.— А вы ж,

ваше сиятельство, чем будете? и как вас титуловать?

— Кофи-шнком у графа! — еще важнее пыхнул сквозь зубы толстяк.— И я тебе, землячок, позволь, так и быть, в чем нужно, помогу...

— Как же это кофе-шенк? в каком будет ранге?

— А то же, почитай, что гоф-дinner,— пускал пыли в глаза толстяк, — мало чем меньше тафельдекера, а то и больше того...

Мирович снял шапку и уж ее не надевал.

Земляк привел его к Аничкову саду, занимавшему в то время все место, где теперь площадь с Александринским театром, памятником Екатерины и Публичной библиотекой. Они обогнули этот сад со стороны Гостиного двора и от заводов Фонтанки и Чернышовских прудов, бывших на месте нынешних министерств народного просвещения и внутренних дел, подошли к небольшой садовой калитке. Вожатый, на расставанье, дал Мировичу несколько наставлений и обещал, если понадобится, пристроить его на квартире.

— Вот, малый, крыльцо,— указал он в калитку на один из летних павильонов дворца,— ступай прямо туда... Из прихожей будет тебе, братец, светличка — в ней граф завел теперь принимать просителей... Там, коли не опоздал сегодня, и дожидайся...

Мирович, тенистыми, пахучими аллеями, прошел к указанному павильону, заглянул в прихожую — ни души; заглянул в приемную — тоже никого; постоял у порога, раза два кашлянул и, как был, в черной свите и смазанных дегтем сапогах, поджав ноги, присел на голубую, штофную, с золотыми точеными ножками софу.

Долго он дожидался. Никто не приходил и не подавал голоса. Прием, очевидно, кончился. Но, раз попав так легко к высокому графу, о котором он, как о благодетеле своей семьи, столько наслышался и про которого такая слава и такой говор стояли на родине,— Мирович решился, во что бы то ни стало, ждать.

«А как выгонят?.. Ну, дворянина, пожалуй, и не посмеют...»

В комнате было еще жарче, чем на дворе.

Мухи то и дело садились на потное, обросшее за дорогу лицо украинца. Мирович то дремал от усталости, то, с досадой и бранью, отмахиваясь от мух, ловил их на лету и давил. Одна особенно назойливо и долго приставала к нему. Он ее согнал с шеи — она укусила его за щеку и пересела ему на колено. Стиснув зубы, он прицелился на нее,

хлопнул по ноге, но промахнулся: муха увильнула, посновала по комнате и опустилась на большую японскую вазу. Задремал в тишине Мирович. Солнечные лучи, врываясь сквозь ветви тихо трепетавших лип, яркими, извилистыми просветами играли по паркету, бронзе и зеркалам. Муха опять села на щеку Мировича, жужжа и путаясь в усах, укусила его и вновь улетела на вазу.

— А, каторжная! — проворчал Мирович.— Постой же! шкода! теперь не уйдешь!

Он встал и тихо, на цыпочках, начал подкрадываться к обидчице; изловчился, размахнулся, но муха снова мимо, а ваза с громом рухнула с поставца и разлетелась вдребезги.

Резная лаковая дверка отворялась в углу комнаты. За нею показалась пола бархатного вишневого халата, звезда на лацкане и румяное, удивленное, а вместе смеющееся лицо: густые черные брови, карие, с поволокой и краснинкой, глаза и вздрагивавшие от позывов к смеху, крупные и влажные, добрые губы...

— А що, земляче, пиймв? — раздался голос пышущего здоровьем сорокалетнего вельможи, узнавшего в госте земляка.

Яков Федорыч упал перед ним на колени. Граф Алексей Григорьевич Разумовский милостиво ободрил растерявшегося просителя, ласково ввел его в свой кабинет, усадил в кресло и стал расспрашивать, кто он и как сюда попал?

— Знаю, знаю, сердце!.. Но неужто на волах? — спросил, удивленно подняв брови, Разумовский.— Не шутишь? Так-таки, глубо сизый, на вликах, да еще, может, и на серых?..

— На сирых, ваша графская светлость, на сирых...

— И погоньча, хлопчика, верно, взял?

— Сына... подросточка...

— Давай же его, голубоньку, сюда, может, и песни играет? где он?

— На лугу, у нового дворца, скотину с собакою пасет.

— Как? где?..

Мирович объяснил. Граф окончательно покатился со смеху...

— Вот так придумал! — бархатным певучим горлом выводил Разумовский.— Кто ж тебя ко мне направил?

Мирович рассказал о своей встрече с кофе-шенком графа, который и на квартире, у тещи своей, обещал его пристроить.

— Какой кофе-шенк? и что ты, диду, городишь? — опять зашевелил

поднятыми бровями граф.— Земляк? И толстый? А!.. Так вот оно кто... Юрченко Абрашка! Ну, назвался же, собачий сын, каким титулом... А он у меня за подручного в поварне на людской... Кофи-шенком же, друже, у меня француз Бриошь, и такая, скажу тебе, шельма искусная да гордая, что Абрашку еще за вихры отдубасит, как узнает о его самозванстве... Так, так, он самый и есть! И у его тещи, Бавыкинши, свой дом на Острове... И отлично...

Разумовский позвонил.

— Езжай же ты, сердце, к ней,— сказал он,— а завтра в эту же пору — или нет, постой,— лучше к вечеру,— будь ты опять у меня, да непременно с сыном и на волах... Тогда и о деле твоём потолкуем. А теперь некогда — еду во дворец.

За стеной послышалась суэта. Поспешно вошел разодетый в золотую ливрею слуга, за ним — другой.

— Торх, торх, посыпался горох!.. Эка, пентюхи... Вы спите там, — сказал Разумовский,— а тут, чтоб черт так и эдак побил вашего батька, добрый человек дожидается... Позвать повара Абрашку.

Вошел Абрам. Мирович глазам своим не верил: куда делась важность мнимого кофи-шенка,— и живот осунулся, и куда-то в камзол спрятался двойной, вспотевший подбородок.

— Не пьян сегодня? — спросил, строго хмурия брови, граф.— Ну и отлично! редко с вами, архибестии, бывает... Так вот же что... Бери ты, Абрашка, вот сего сизого голубя к своей теще на постой, да береги его, слышишь, пуще глазу... Угости там, успокой и покажи ему и его хлопцу столицу... А это ему пока на расход.

Граф бросил повару кошелек.

На другой день государыня Елисавета Петровна пила у графа, в Аничковом саду, вечерний чай. Прибыла она из Летнего дворца, где теперь Инженерный замок, на катере с гребцами и с роговою музыкой. Катер въехал из Фонтанки прямо в пруд, бывший тогда среди Аничкова двора.

Государыне в саду графом были представлены Яков Федорыч и его сын Василий. Мальчик играл императрице на торбане, пел «Грлицу», «Гриця», плясал «трепака» и декламировал хвалебный, в честь царицы сложенный в то время киевскими бурсаками кант. Государыня прослезилась. Но спустя недели три, когда ей от Сената доставили

справку о том, за что ее покойный родитель отобрал в казну имения Мировичей, она не нашла возможным исполнить просьбу Якова Федорыча.

— Чудасия, мосьпане, да и полно! — воскликнул, топорща брови, не успевший в своей протекции Разумовский.— Не все, братику, по-нашему! — пивень каже кудкудак, а курочка — не так! Но дело твое, не унывай, еще выгорит... Докажи, чуешь, что в отобранных у вас поместьях были родовые, собственные маетности твоей матери. А без того — чтоб им болячка! — не можно... убей бог, не можно... Посуди... Сенат в твою пользу не доложит... Сказано: москали! лыком вязано, в лыках ходит, под лыком спит... Видишь, сердце, какие у них прицепки да щупы — на три аршина, собаки, под землей щупают. Нельзя... финанции, казенный интерес!..

Слезы прошибли Мировича. Он не ожидал отказа и неуспеха, когда добился свидания не только с графом, но и с царицей, подбирал, что бы еще сказать, и не находил слов.

— А о хлопчике твоём, о сыне, и не думай! — сказал тронутый его горем граф.— Государыня, до его великовозрастия, возьмет его под свою опеку и милость. И такой-сякой я буду, слышишь, коли вру! Наплюй тогда в глаза... Завтра же велит его записать в кадеты, в шляхетный здешний корпус,— бо он у тебя, братику, все-таки дворянин, нельзя! э! того нельзя!.. Да еще вон какой до черта письменный... стихи важно дует — и дискант преизрядный... Без камертона, сразу верхние ноты, собачий сын, берет... «Грлицу», «Не ходи, Грицю» как отчекрыжил!.. Херувимскую московскую тоже вон знатно спел, без ошибок; да, полагаю, и по придворному, концертному, скоро насобачится... А волов своего кума, сердце, знаешь, лучше оставь тут — продай их хоть и мне... Славные волы! и жалко их, диду, опять гнать бес его знает и куда... Я бы, слышишь, послал их на дачу тут свою, в Гостилицы... У меня, сердце, там дворец; а какие луга! Нехай бы ходили, шановались да радовались по паше... Гей, гей, родина, хуторы наши, раздолье... Эхма! А впрочем, как знаешь. Брат Кирило в Батурин новоманерную мебель посылает себе на днях в гетманский дворец... Так и ты бы, может, поехал с его хлопцами...

Яков Федорыч поблагодарил, но, пристроив сына в корпус, поехал с лохматым Серком домой на волах.

По возвращении на родину старик протянул недолго: простудился осенью на пасеке и умер. Об этом написали молодому Мировичу сестры, жившие по людям в Москве. Зять Бавыкиной, Юрченко, потеряв от преждевременных родов жену, запил с горя на графской кухне и также в том году скончался.

Настасья Филатовна, на своем сиротстве, незаметно и крепко привязалась к Васе Мировичу; брала неуклюжего и на первых порах медведеобразного, а потом резвого и шустрого, миловидного кадетика к себе по праздникам, ласкала его, журила и нянчила, как родного. Из кадетика вышел вскоре кадет, из тощего заморыша-мальчонки — рослый и полный здоровья юноша, который не знал, куда деть вытянувшиеся руки и ноги; не по дням, а, казалось, по часам так и выпирало его из казенного узкого кафтанишки.

— И куда ты это, Васенька, лезешь в гору, так растешь? — говорила старуха. — Ин скоро уж, пожалуй, и рукой не досягну до твоего вихра!

Сперва Вася лазил во дворе у Настасьи Филатовны по крышам, по яблоням и березам, гонял голубей, в свайку да в бабки играл с уличными мальчишками. Садины не сходили у Васи с носа, синяки с висков. Филатовна то и дело чинила его камзольчики и штанишки, штопала ему чулки. Но вот Вася окончательно вытянулся и остепенился. Сухощавый, скулистый, плечистый, будто увалень, а в черных глазенках так и бегают огоньки. Ландшафты рисует красками и миниатюрой, хитрые виньеты к нотам Разумовскому чертит и ему носит. Ходит с книжкой по саду Бавыкиной, вслух читает какие-то стихи; говорит, что твердит роль для кадетского театра. Зеленый ученический кафтан на нем чист, русая коса в завитках и припомажена; шляпа на три угла, как с иголки, белые манжеты и чулки отнюдь не примараны. Ему исполнилось восемнадцать лет. В корпусе он был уже шестой год.

— Кто же вас там хтерству этому обучает? — спрашивала его Филатовна.

— Сам Александр Петрович, сам господин Сумароков! — отвечал Вася Мирович. — И мы играли намедни, на домашнем нашем театре, его комедию «Чудовищи», а вскорости при дворе, в собственных внутренних апартаментах государыни, будем играть его же трагедию «Гамлета»... Ах! какие стихи, какие!

...Люблю Офелию, но сердце благородно
Быть должно праведно, хоть пленно, хоть свободно...

Сердце кадета Мировича на самом деле вскоре было пленно. Он нашел свою Офелию и сразу влюбился в нее страстно, без ума, о чем признался товарищу, уроженцу Харьковского наместничества.

Случилось это в 1759 году, незадолго до выпуска старшего курса из корпуса. В Петербурге и в окрестных дачах вельмож, по случаю приезда принца Карла Саксонского, шли непрерывные празднества и торжества — с качелями, каруселями, катаньем с гор, рыбными ловлями, стрельбой в цель и театрами.

В Гостилицах, на даче Разумовского, давали переведенную с французского пьесу: «Пастух и прегордая пастушка». Кадет старшего курса Мирович, кончивший геометрию и фортификацию с атакой и изучавший в том году у корпусного ученого адъютанта Флюга гражданскую юриспруденцию, натуральное право и немецкий штиль, играл роль пастуха. Роль пастушки исполняла одна из хорошеньких и веселых камер-медхен императрицы Елисаветы, Поликсена Ивановна Пчёлкина,— не помнящий родства подкидыш. Свою фамилию она получила вследствие того, что государыня, встретив в коридорах дворца кудрявую, с серыми глазками, с золотистыми волосами, девочку, остановилась и сказала:

— Вот распевает, жужжит, точно пчелка...

С той поры она и осталась Пчёлкиной.

Влюбленный в неприступную и гордую пастушку на сцене, пастух-Мирович поймал ее врасплох за кулисами, обнял за талию и, страстно припадая к ее розовым, с ямочками, набеленным и облепленным мушками щекам, нежно прошептал из своей роли:

Когда ж бедняжку пастуха —
Когда полюбишь ты, пастушка?..

Пчёлкина вырвалась от него, оправила смятые блонды и ленты и, сделав вздыхателю реверанс, с насмешливой важностью, ответила также стихами разыгранной пасторали:

Когда ты будешь богачом,

Вельможей, а не пастухом,—
Чтоб не в убогой жить нам хате,
А в раззолоченной палате...

Тень всякого спокойствия с той поры покинула влюбленного кадета. Гражданская юриспруденция, немецкий штиль и натуральное право Флюга были заброшены. Их заменили бессонные ночи, вздохи, писание страстных и нежных мадригалов, а в промежутках, с горя,— попойки с городскими кутилами и карты.

— Хохленок сдурел! — говорили товарищи.

И точно: Мирович стал раздражителен, мрачен, ушел в глубь себя. Бавыкина собиралась не раз вызвать на голову завертевшегося своего любимца грома и молнии со стороны Разумовского. Но всеильный граф давно забыл и думать о юноше, который когда-то пел кант и плясал «журавля» в его саду, хотя при встречах с ним обыкновенно шутил:

— Виньеты славно чертишь, и херувимов, и гербы... А постой, иначе, постой! Хочешь, кукночка, вареников? и когда на волах до дому?

Днем, повидав украдкой Пчёлкину, Мирович вписывал в свой дневник стансы к милой:

Лишен любовных разговоров,
Я вижу тень твою с собой...
И, ах! твоих не зрю хоть взоров,
Но мысль всегда, везде с тобой...

Вечером, в корпусном дортуаре или в душном служительском чулане, он резался с богатыми из товарищей в ля-муш и в фараон. Жажда выиграть, разбогатеть тянула его к себе, и он, к собственному удивлению, выигрывал. Сперва серебро, а потом и золото завелись у кадета. Нередко полные карманы рублевиков таскал он к Настасье Филатовне.

— Откуда берешь, пострел? — допрашивала она.

— Спрячьте, голубушка, спрячьте бережнее, а то опять спущу!.. — отвечал он.— Это для Поленьки! Все ей... Как выйду в офицеры, посватаюсь и женюсь...

Молва о счастливой игре Мировича дошла и до начальника корпуса, богатого и знатного князя Юсупова. Строгий распорядитель и любимец вверенных ему питомцев, он тоже был страстный игрок.

— А играешь ли в рокамболь? — спросил его однажды князь.

Мирович в это время готовился к окончанию экзаменов.

— Во что угодно-с...

— И в вист-руаяль?

— И в вист...

— Почем рober?

— Хоть по десять рублей.

— Вот как! А в пикет знаешь?

— Знаю.

— Ну, приходи ко мне: завтра Сретенье, праздник,— сыграем во что-нибудь...

Мирович за два дня перед тем виделся с Поликсеной у знакомой Настасьи Филатовны, у поручицы Птицыной, и все время после встречи с обожаемой, неприступной красавицей был как в чадy. Он усердно помолился об успешной игре, даже обещал поставить свечку у Исаакия, если выиграт, и, вопреки советам товарища-харьковца, пошел на квартиру к Юсупову.

— Ну, сядем в бириби,— сказал вельможный начальник, кладя карты на стол.— Огурчики, огурцы, пошли в дело молодцы!.. так ли? ну-ка, сивая, пойдем в поход!.. деньги есть?

Кадет показал дукаты. Юсупов поставил возле себя ларец. Они стали играть.

«Мать пресвятая, владычица Казанская, помоги! — думал Мирович. — Что, если выиграю у него не то что сотню, полтысячи, тысячу рублей?.. Он богач, в игре, слышно, зарывается, неотходчив... Тогда... о! тогда Поленька моя...»

И он действительно стал выигрывать.

Когда стемнело и подали свечи, серебро, а потом и золото из ларца Юсупова наполовину перешли в шляпу кадета. Руки князя дрожали, брови удивленно шевелились, старческое, апоплексически красное лицо покрылось белыми пятнами. Он не переставал сыпать любимыми поговорками.

— И начала она сомневаться!.. и начала! — возглашал он, судорожно хлопая картой по карте.— Ура, сивая, не отставай!..

окунулся по уши, валяй и по маковку туда ж...

Ларец Юсупова опустел.

— Эй, вина! венгерского! выпьем, брат! — забывшись, крикнул начальник.— Что-то душно...

— Не пью-с! — пролепетал бледный, взволнованный успехом Мирович.

— Вздор, приложимся! у меня, брат, старое...

Подали бутылки и рюмки. Князь выпил, налил и партнеру, выпил и еще; труня над своей неудачей, распахнул окно в оранжерею, а дверь запер на ключ, достал из пузатого, выложенного бронзой бюро горсть кораллов и несколько ювелирных вещей и начал удваивать ставки.

— А вы, Сашки-канашки мои, куда дели подтяжки мои? — шутил он, щелкая картами по столу.

К полночи Юсупов выбился из сил и откинулся на спинку кресла. Все вынудое было вновь проиграно. Глаза князя лихорадочно сверкали, на углах губ проступила пена.

— Ты маг, кудесник! — прохрипел он, в охмелении глядя на кадета и срывая с горла обшитый пуан-дешпанами платок.— Не вывезла, сивая, усомнилася!.. отстала?.. Уходи теперь, братец, как есть, будто не играл... Иначе,— прибавил вдруг Юсупов,— я тебя за карточную игру под суд...

Мирович помертвел.

— Ваше сиятельство, князь! Вы шутите? — проговорил он, заикаясь.

— Не шучу, не шучу... Иди подобру-поздорову... Не то я тебя, каналья, выпровожу... нечисто, знать, играешь...

— Как смеете! — вскрикнул, вскакивая, Мирович.— Вы забылись... Такие слова природному дворянину... Мои предки не меньше ваших вельможами были...

На Мировиче не стало лица. Руки и подбородок его дрожали. Он как пьяный шатался, стоя через стол в угрожающем положении против князя. Глаза его застилало пеленой.

— Вон, молокосос, вон! — закричал Юсупов, также поднимаясь с кресла и толстыми прыгающими пальцами загребая снова в ларец лежавшие на столе деньги, кораллы и ювелирные вещицы.— Я тебя, сударь, только пытал!.. Аль не догадался? Вижу ноне, какова ты птица... Юсупова, брат, князя не проведешь...

Свет окончательно померк в глазах Мировича.

Он опрокинул стол с картами и с вином, рванулся к князю, выбил у него ларец и ухватил его за руки. Борьба между сильным, тучным стариком и ловким дерзким юношей началась отчаянная. Огромный парик князя слетел под софу, часы были обронены в схватке и растоптаны под ногами, рубаха и манжеты изорваны в клочки. Сильно досталось и кадету. С отхваченным лацканом кафтана, лопнувшим по швам камзолом и с развитой косой он в рукопашном бою нечаянно дал выскользнуть сопернику в его объятиях князю, получил от него меткий удар чем-то тяжелым в голову, но изловчился, опять поймал его за каминном в углу и, с криком: «Молись! теперь тебе, изверг, капут!» — тонкими пальцами изо всех сил ухватил его за жирное горло.

Мирович задушил бы князя Юсупова, но из прихожей к кабинету, на возгласы их и возню, сбежались слуги.

В двери стали стучать. Мирович опомнился, выпустил князя. Юсупов, задыхаясь, молча указал ему окно в теплицу, оттуда был особый выход в сад. Тот медлил. Князь, злобно хрипя и потирая горло, отвесил ему низкий поклон. Мирович схватил шляпу и выскочил.

Юсупов пришел в себя. Не отворяя двери, он крикнул, что никого не звал и чтоб его оставили в покое, привел в порядок свою одежду, мебель и вещи и закрыл окно. Опустив гардины, он выпил целый графин воды, крестясь и охая, прошелся несколько раз по комнате и сел писать к фавориту государыни, Ивану Ивановичу Шувалову, длинное письмо.

Через неделю после этого казуса кадет Мирович, за леность, а также за продерзостное и кутежное поведение, не кончив курса, был отослан солдатом в пехоту, в заграничную армию, где в два года дослужился до подпоручика.

Юсупова разбил паралич. После долговременного управления кадетским корпусом он был уволен от этой должности и вскоре скончался. Он словесно перед смертью пожелал выслать за границу исключенному кадету крупную сумму денег. Но ближние его посмотрели на это как на излишнюю поблажку и приказа его не исполнили.

III

Петербург времен Петра III

Крепко спалось с заграничной дороги Мировичу у Настасьи Филатовны, да и было так тихо в теплой, уютной горенке. Городской езды по берегу Мойки в том месте почти не было слышно. Бавыкина и в церкви побывала, и на рынок сходила, и кончила в кухне обеденную стряпню.

«Вот заспался, сердечный»,— рассуждала она.

Разбудили Мировича неразлучные канарейки хозяйки. Они так весело растрещались на солнце, что он проснулся, открыл глаза, но не сразу пришел в себя, глядел по комнате, припоминал...

Вот старый, почернелый, дубовый комод Филатовны, березовый, со стеклами, посудный поставец. В комод лежали когда-то его кадетские рубашонки, тетрадки, потертые в беготне чулки. А из поставца всегда так пахло корицей, имбирем, и лежали там, ждали его к праздникам пряники, орехи, шептала. На степе — поясной портрет, красками, покойного Бавыкина. Сударь Анисим Поликарпыч, в кафтане, шитом золотом, и в лейб-кампанской, с перьями, шапке, гордо и важно глядит из рамы и будто повторяет слова манифеста Елисаветы Петровны: «А особливо и наипаче лейб-гвардии нашей шквадрона по прошению престол наш восприть мы соизволили».

Мирович не застал уже Бавыкина в живых. Но власть и мочь покойника еще признавались памятью знавших его. Один из трехсот гренадеров, возведших Елисавету на трон, во дни загула он — «подпяхом с приятелями»,— бывало, поднимет такое веселье, что канцлер Бестужев, слыша из своего дома, через Неву, буйные песни и крики у его ворот, посылал цидулки к генерал-полицеймейстеру о командировании пикетов для охраны спокойствия соседних улиц и домов.

— Все отдам, все тебе после смерти откажу,— говорила в оные дни Настасья Филатовна кадету Мировичу,— учись только уважать начальство, в люди выходи. Станешь в чинах, будешь знатен, амбиции

своей не преклонишь, и меня до конца веку доглядишь... Оно точно: на рать сена не накопишься, на мир хлеба не насеешься. А бери, сударик, пример хотя бы с меня... Самой царице угождала, ее душеньку брехнею улащала... И был за то бабе Настасье почет и привет... Девка гуляй, а дело помни... Даром, брат, ничего, даром и чирей не сядет...

Все изменилось, все прошло. Бедность видимо проглядывала теперь во всей обстановке Бавыкиной. Не оправдал ее надежды и былой ее питомец. Мировича заметили за отличие под Берлином, где он был контужен, произвели в офицеры. Но тяжело давались ему двухлетние походы, лишения всякого рода, обиды старших, измены и подкопы товарищей, и та же суровая бедность, бедность без конца. Он еще более сосредоточился, стал скрытен, завистлив, раздражителен и горд. Чужие края во многом открыли ему глаза. Он сходил там с умными людьми, в том числе и с масонами, читал книги, немало перенял, сунул нос и в такие речи и дела, о которых прежде ему и не снилось. Грубость генерала Бехлешова на утреннем приеме в коллегии не выходила у него из головы.

«Скрыть хотят пропозиции Панина,— не выходило у него теперь из мыслей,— изменники! берлинские угодники!.. не скроют... Завтра опять пойду и добьюсь».

Мирович встал, быстро оделся и вышел на улицу. У него что-то сидело в голове. Доехав на извозчике на Литейную, он высмотрел чей-то двор, между светлиц придворных чинов, обошел его, долго глядел на окна и двери и спросил кого-то вышедшего из того двора. Ему вызвали слугу. Ответы последнего не привели ни к чему. Еще постоял Мирович перед заветным домом, еще поглядел на окна. Он черней тучи возвратился на Мойку, пробрался в горенку Филатовны и молча прилег опять на постель. Бавыкина вошла к нему с завтраком.

— Думала, спит, а уж он и по делам,— сказала она, присев против него и с любопытством его рассматривая.

Он молчал.

— Это же что у тебя? — спросила она, взглянув на истрепанную тетрадку, лежавшую на куче хлама, вынутого из чемодана.

Мирович и на это ничего не ответил. На заголовке тетради красивыми росчерками стояла надпись: «Храм Апрантифской». Вокруг заглавия были рисунки тушью — два столба, треугольник, отвес, молоток и другие знаки. То был масонский катехизис, логи святого

Иоанна, ученической степени (apprenti).

— Диплон, что ли, на чин? — спросила, просияв, Филатовна.

— Да... нет, бишь... артикул,— товарищи дали,— нехотя ответил Мирович.

— Служи, Василий, служи; времена тяжкие: добивайся! Пес космат — ему тепло; нам зато вот как холодно... А золотой молот, паря, он и железны ворота прокует. А почему? Потому нонешний свет, он самый, как есть, линущий... Тлѐю над нами пахнет... Нынче корова, а завтра падаль...

Бавыкина вздохнула, оперлась на руку головой.

— И уж так-то плохо, так... Все махонькое в большаки, вишь, просится. Да не быть медведю стадоводником, а свинье огородником. А что прогорела, то еще не беда. Города — и те чинят, не токмо рубашки.

Мирович не отозвался. Бавыкина пристальнее взглянула на него.

— Да ты не на Литейну ли отмахал? Что смотришь? Угадала небось? Признавайся.

— Где Поленька? — спросил Мирович.

— Нешто сам не знаешь, не списывался с нею?

— Четыре месяца ни слуху про нее, молчит, на письма не отвечала, — отрывисто и грубо проговорил Мирович.

— То-то, Василий, скрытничает,— сказала, покачав головой, Филатовна,— а я, признаться, иной раз спрашивала. Помнила твои гонянья... Вот и сегодня... Только, брат, ни Птицыны, ни Прохор Ипатьич — кучер покойной царицы, ни Шепелевых кума — дворцовая кастелянша, никто не знает. Как померла на Рождество государыня, твоя-то, веришь ли, точно в воду канула. Да и дива нет. Порядки, сам ведаешь, пошли все иные. Двор покойной царицы распустили, ослобонили — кто куда. Ну а она, известно,— голячка, сирота: где ей в здешнем-то Бавилоне болтаться. Куда-нибудь от глазырников в тихости девка и съютилася... Самому знаком ейный нрав — недотрога, гордец, и обид — этакая, подумаешь, цаца — не любит. За границу разве?.. Так нет: знали бы. Без паспорта, чай, сразу и не уедешь...

— Чудеса! — произнес Мирович.— Уж жива ли или впрямь куда уехала?

— А про то, братец, говорю тебе, не сведома! — с недовольством ответила Филатовна.— Двор, сокол ты мой, новый и порядки новые. Не то что камер-медхены, гоф-енералы у нового царя и у его хозяйки — все

почти переменялись. А ведь твоя-то, правду сказать, человек небольшой; рассчитали, ну, ветер ее, мелкотравчату, и сдул с земли долой.

Мирович не слушал Филатовны. Та взялась за поднос, брякнула тарелками.

— А я вот что тебе скажу,— заговорила опять Филатовна.— Что твоя Поликсена? ну, говори! Голь бесшабашная, и только. Тебе, сударь, не того нужно. Нет греха хуже бедности. Помни зарок бабы Насти — тут вся правда. Ну посуди! Ты молод, из себя красив, чин у тебя тоже вот уж офицерский, и всякая за тебя теперь, ну, писаная краля пойдет... Да вот, наприклад, хоть бы и дочка самой Птицыной... Чем не невеста? Повидишь, какая пава стала — выровнялась за это время, стан тебе полненький, ходит, вертит хвостом, как уточка,— а волосы, а глазищи... Да притом, Василий, дом какой на Литейной, дача на Каменном; а по смерти матери, в сходстве ейного счастья, еще и капитал. Прокормишься, ну, и меня в те поры не забудешь... Вон я последнюю холопку Гашку из-за бедности продала енералу Гудовичу, как сюда съезжала на фатеру. Верись, пухом да перьями ноне торгую,— продолжала, всхлипнув и утираясь, Филатовна,— скупаю по господам да перепродаю в Гостиный на подушки и пуховики... Право, подумай, голубчик, не спеша. На резвом коне свататься не пытайся; а жена, брат, не гусли, поиграв, на сук не повесишь...

Мирович в досаде и нетерпении постукивал о пол ногою. Он сидел молча, понурившись. Его божество, стройная, худенькая пастушка, с лукавым взором холодных, серых и загадочных, как у сфинкса, глаз, с ямочками и мушками на щеках и с гордо вздернутой, насмешливо дрожащей губкой, не отходила от его мысленных взоров.

Филатовна озлилась. Гремя в посудном поставце, она чуть не разбила любимой чашки.

— Да чем бы вы жили? ну, отвечай! и каковы нынче цены? да ты не крути носом, прокурат, а толком разбери: фунт чаю два с полтиной, сажень дров рубль шесть гривен... а? Да что! Слыхано ли: пуд аржаной муки двадцать шесть копеек. Светопреставление, да и все... Говядины, говядины фунт — меньше двух копеек не отдают... Как тут жить?

— Ну, как жить, про то уж не знаю,— полупрезрительно ответил, вставая, Мирович,— и пойдет ли за меня Поликсена... А подруги ее, Птицыной, прежде не примечал, да и теперь видеть не хочу... Вы

спрашивали, что это вот за книжка? Мудрые в ней слова.

— Каки таки слова?

— Мир на трех основах сотворен,— продолжал гордо и как бы в раздумье Мирович,— на разуме, силе и красоте. Разум — для предприятия, сила — для приведения в действие, красота — для украшения... Жизнь наша — храм Соломонов, и каждый камень в нем да кладется без усталости и ропоту... Впрочем, вы того, простите, не поймете... Но стойте, одно слово. Окажите такую милость. Сходите еще раз к кучеру Прохору Ипатьичу, к Птицыным и к Шепелёвых куме, кастелянше... Узнайте, куда от двора могли доставить Пчёлкину? Чай, не выкинули же на улицу, в придворном экипаже везли.

— Так вот тебе, высуня язык, и стану бегать за девками! — отвечала, отмахнувшись, Филатовна.— Стара, брат, стала! пора бы и на покой... Садись разве сам да и пиши публикацию в газетах, как в старину письма к любовницам писали: сладостные, мол, гортани словеса медоточные, где вы, отзовитесь! Красоты безмерной власы! стопы превожделенные, улыбание полезное и приятное, нрав веселый и пресветлый, ластовица моя златообразная, откликнись!.. Нет, брат, уволь,— винты развинтились, не гожусь... в ломку пора...

Филатовна, однако ж, только храбрилась. Под предлогом сношений с перинщиками она сказала, что надо после обеда сходить в Гостиный, накинула поношенный шушунчик, взяла какой-то узел, вышла за калитку и опять поплелась к лейб-кучеру, к Шепелёвых куме, кастелянше, и к Птицыным.

Возвратилась Бавыкина в сумерки. Она была сильно не в духе, хмурилась и бранилась.

— Эки концы, прости господи! Вот она, торговля... Коли не камер-фуриры Герасим Крашенинников да Василий Кириллыч Рубановский,— сказала она, бросив в угол ношу и глядя на Мировича,— так никто уж в свете и не скажет тебе, где ноне Поликсена... Они заправляли списками при похоронах государыни, им только теперь и знать, куда направила лыжи твоя Миликтриса Кирибитьевна.

Она вышла. Мирович записал в бумажник названные ею имена и засуетился над чемоданом. Заперев дверь, он принялся чистить сильно поношенный кафтан, шинель и башмаки, достал из какого-то свертка иглу, заштопал штиблеты и долго, вздыхая, возился над распоротым у подошвы башмаком; расчесал и тщательно завил косу и букли, обвязал

их, для сохранности, на сон грядущий, платком и попросил разбудить себя на заре, чтоб успеть напудриться, побриться и, отбив утром явку к начальству, пуститься на поиски камер-фурьеров Крашенинникова и Рубановского.

— Доля проклятая, где ж ты? — ворчал он, раздеваясь.— На дне моря, в земле или выше того?

Утром Мирович из первых явился в коллегию. Там его, сверх ожидания, задержали долго. Толпились приказные, гвардейские и армейские офицеры. Из заграничного отряда в ночь прискакал новый курьер. К полудню приемная и лестница коллегии гудели от говора разномастного люда, как улей. Бряцающая шпорами и дерзко волоча палаши по ногам встречных и поперечных, с наглыми казарменными ухватками, речами и громким смехом, прошли вслед за каким-то, белобрысым и куцым, голштинским бригадиром новоиспеченные гвардейские любимцы. Между мелкосошною мундирной братией стали говорить шепотом, а потом и громче, что общие смутные предсказания сбылись: голштинцы торжествовали, и Волконскому в пограничный корпус посылалось предписание — войти в формальные переговоры о прекращении военных действий с принцем Бевернским. О «пропозициях» Панина не было и помина. На Мировича, сидевшего в углу на скамье и поджимающего заштопанную коленку и плохо зашитый башмак, теперь уж никто не обращал внимания. Вчерашний, сердитый и надутый, как петух, генерал Бехлешов, выйдя с озабоченным и, казалось, невыспавшимся лицом в приемную, заметил его и кивком, пренебрежительно, подозвал к себе. Пыхтя и разглядывая свои белые, маленькие ручки, он помолчал и вдруг, поглядев на него в упор, напустился:

— Так ты — Мирович? а? а? Мирович? ордонанс Панина?.. А отчего у тебя, сударь, кафтан старого образца? Да и галстук — папильоном, сиречь бабочкой, не по форме повязан! Ордонансы! баловники! — кричал, топая ножками, генерал.— Разве вам не были посланы указы о новых мундирах? А? Вольнодумством вы только занимались там, по театрам, по обржам вертопрашили да дусёргельды делили на пирушках!.. Шалберники, роскошники, моты!..

— Не заслужил, не заслужил! — ответил, вспыхнув и сам не помня себя, Мирович.— Подобный афронт офицеру... я... вы... вы...

— Здесь столица,— сам государь,— а не ордер-де-баталія!..—

крикнул еще запальчивее Бехлешов.— Ступай, сударь, да берегись... Слышь, говорю тебе, берегись! Любимчики штабные! Ордонансы! А понадобится, за тобой пришлют.

«Ах ты ракалия! — подумал с дрожью Мирович.— Да что ж это? и за что? только что приехал, и вдруг...»

Горло его схватили судороги. Он молча повернулся, спустился, бледный, с лестницы и, стиснув зубы, глотая слезы негодования, поехал домой, повторяя:

— Ну, родина! угостила с первых же разов...

Бавыкиной он не застал дома. За нею пришли из какой-то лавки. Прождав ее час-другой, Мирович успокоился, пришел в себя. Он вспомнил об академике, осведомился о нем у прислуги и смешался.

«Так вот кто это!» — пробежало в его мыслях. Он в раздумье поднялся по наружной лестнице флигеля. Академик был в верхней, угольной комнате, выходящей в сад.

Ломоносов стоял за простым круглым столом. Солнце ярко светило в окна. Он курил небольшую пенковую трубку и, нагнувшись над картой Северного океана, чертил на ней предположенный им путь, в обход Сибири, в Китай и в Индию. Теперь он был принаряжен — в парике, без пудры, в суконном, кирпичного цвета кафтане, в чистых манжетах и белом шейном платке. В кресле у камина, с книжкой в руке, сидела белокурая Леночка. В книжку она смотрела рассеянно, украдкой следя за серым котенком, игравшим с бахромой ковра на полу.

— А! господин офицер! — сказал с улыбкой, подвигая стул, Ломоносов.— Очень рад... Садитесь, батюшка... Давеча вы меня порядком смутили. Стар становлюсь, да и болел эту зиму, ноги остудил, на смертной постели лежал; ну, и не удерживаюсь иной раз. Да и как удержаться! Я дописывал новую оду, а поговорив с вами, бросил ее в печку и, как есть, всю-то ночь не спал. Выехал сегодня в академию — ваши слова подтверждаются,— только и говорю везде, что о перемирии... Соврал, видно, я, писав сгоряча на новый этот год:

Петра Великого обратно
Встречает русская страна...

— Мир! да лучше бы кнутом меня на площади били, самого немцем

сделали, чем это слышать! — произнес Ломоносов, бросая трубку на стол и закашливаясь.

Краска залила его изжелта-бледные, в суровых морщинах щеки. Желтизна проступила и в затуманенных годами, больших, строгих и вместе ласковых глазах.

— Леночка! пивца бы нам аглицкого! — сказал он дочери.— Возьми у мамы ключи да холодненького, из западни... Душу отвести... Пару бутылочек, не больше...

Леночка несколько раз бегала в западню.

Пиво развязало языки новых знакомцев. Ломоносов стал на карте объяснять Мировичу выгоды от придуманного им, мимо Сибири, пути в Индию.

— И все ферфлюхтеры, все немцы мешают,— сказал он,— сегодня в конференции, верите ли, чуть глотки в споре с ними не перервал... Скоп злобы! Ничего, как есть, не поделаешь с толиким препятством, с толиким избытком завистливой кривды и лжи...

— А что, Михайло Васильич,— спросил Мирович,— не уступи наш новый государь, Петр Федорыч, своему другу, решишь, по мысли Панина, продолжать войну — ведь навек бы немцев мы урезонили.

Лицо Ломоносова омрачилось.

— Плохо,— сказал он, махнув рукой и подвигаясь с креслом к камину,— и не приведи бог, как плохо.

— Что же-с? Разве здоровьем слаб государь? — спросил Мирович.

Ломоносов кивнул дочери, чтоб ушла.

— Слушай, молодой человек, и суди! — начал он, помолчав.— О тебе много наслышался от своего старого друга; да и приехал ты из такой далины... Взвесь, оцени на свежую голову неудобства наших темных, бурливых дней и скажи, по сердцу, свое мнение. Чай, знаешь дела-то великого Петра... Что в Риме в двести лет, от Первой Пунической войны до Августа, все эти Сципионы, да Суллы, да Катоны сделали, то он в свою токмо жизнь, он один в России совершил. Первые преемники были куда не по нем! Хоть бы двор при царице Анне Ивановне...— как бы тебе выразиться — был на фасон немецкого, плохонького, владетельного дворика. Но и тогда русские лучшие люди всюду, в глубине-то страны, еще по-русски жили и говорили. Царица в оперу в спальном шлафроке ездила, Бироновых детей нянчила, курляндским конюхам да ловчим все правление в опеку отдала. Да ведь

эти-то Бироны, Остерманы и Минихи, они все-таки были подданные русские, во имя России действовали. И повального, брат, онемечения еще у нас в те поры не было... Правительница Анна Леопольдовна — слышал ли ты про нее и про ее тяжкую судьбу?

— Мало слышал... в школе и на службе-с было не до того... кое-что говорили...

— Ну, так скажу в краткости и о ней... Она драмы Аддисона, «Заиру» Вольтера любила декламировать и по три дня, простонравная беспечница, не чесалась... При ней зато немцы немцев ели, и нам от того было не без приятства и пользы... А покойная государыня, божество мое, Лисавет-Петровна? Ох! что греха таить! При ней — не на твоей, разумеется, памяти — все у нас иноземным, французским стало — обычаи, нравы, моды и язык... Но все же, голубчик ты мой, хохлик, — лучшие русские люди, лучшие умы и сердца ее окружали... Умела она их выбирать и ценить... И я, российский природный поэт и вития, я — Ломоносов — недаром, слышь ты, по сердцу, от души ее воспевал...

— Помню ваши стихи,— с чувством перебил Мирович:

Царей и царств земных отрада...

и другие о ней же:

Владеешь нами двадцать лет...

— Она смертную казнь отменила в России! — продолжал Ломоносов.— В Москве, по моей мысли, открыла университет; на родине твоей, на Украине, в Батурине, тоже, в сходствие моего прожекта, открыла бы, если б не померла,— и свято чтит, лебедь моя белая, дела своего родителя, великого и единого в мире моего героя, Петра...

— Однако,— заметил, подумав, Мирович,— то были женщины: Екатерина, две Анны, Елисавета, и почти подряд... Бабье царство,— говорили в народе. Войску надоело быть под женскою управой... Теперь у нас на троне монарх, и снова Петр...

— Петр, да не Первый! — сказал Ломоносов.— Не было и не будет такого другого. По примеру деда-то великого думает он управлять? Далеко, друг любезный! Дудки! Я сам надеялся... Оно конечно... и

Петр Второй, мальчонок, в Сенате торжественно обещал, подобно Веспасьяну, править, никого не печалить... А что содеялось потом? Я неотесан, я груб, и меня, дикого помора, сударь,— за непорядочные поступки и озорничество с седою обезьяной Винцгеймом, Таубертом и с другими академическими нашими колбасниками,— под арестом при полиции держали. Но, ездив еще с отцом на рыбачьем карбасе, по северному ледяному морю, я привык бороться с злыми стихиями... Великая и грозная, сударь, природа студеного надполярного океана воспитала меня... Я простосовестен, брат, но не податлив... И ничем ты не купишь недовольства и угрюмства обиженной и бунтующей моей души... Скажу тебе, юноша, правду... У нас теперь нашествие не русских немцев, а немецких, самых сугубых и лютых... И ныне, братец, — прибавил вполголоса Ломоносов, склонясь к Мировичу,— коли не найдется у нас гения, чтоб нами побитого лукавца Фридриха водрузить в прежних умеренных пределах, то всю инфлюэнцию нашу на европейские дела у нас исторгнут. И будет наш великий канцлер, а мой давний благоприятель, Воронцов, министром — токмо не своего монарха, а того же, через нас вновь оживающего, Фридриха. Шутка ли, в военной коллегии, в конференции, где Шереметевых, Апраксиных, Бестужевых витают имена, ныне компасом всех дел являются только что прибывший из Берлина, Фридрихов посланник, Гольц, и дядюшка государев, командир его голштинцев, принц Жорж.

— А что слышно о государевой супруге, о Екатерине Алексеевне? — спросил Мирович.

— Погоди, дойду и до нее... Тяжкий грех взяла на себя покойная императрица Елисавет-Петровна... По особым важным политическим и статским резонам, она, не объявленная в браке, выписала себе в преемники, из Голштинии, своего родного племянника, нынешнего государя, Петра Федоровича, когда ему исполнилось уже четырнадцать лет. Помню, как привез его из Киля во дворец теперешний здешний генерал-полицмейстер, барон Николай Андреич Корф. Грустно было смотреть на этого ласкового и, скажу, с добрым сердцем юношу. Худенький, щуплый, бледный, верой притом, от случайных обстоятельств, лютеранин... Чутьочку по-французски знал, но, представь,— ни слова не говорил по-русски. Такого ли ожидать было в преемники к российскому наследию великого Петра? Учение его в Голштинии совсем было заброшено. Учителя-шведы готовили его на

стокгольмский престол и воспитывали, разумеется, не токмо в холодности, а даже в презрении к далеким русским варварам. И таков-то именно он явился, двадцать лет назад, в Петербург... Говорю, добрый он, и к наукам не без склонностей: кое-что и в искусстве сведал: егерь Бастиян выучил его в Голштинии на скрипке играть... Но не повезло племяннику императрицы в России: чуть его доставили, бедного посетила оспа. Государыня-тетка полюбила его, жалела, сама первым русским молитвам обучила. Потом обвенчали Петра Федорыча, и взял он за себя — выбор счастливый — принцессу, разумную, обстоятельную, нравом женерзную, твердую и пылкую, сущий огонь... Ты спросил о Екатерине Алексеевне, какова?.. Да, друг мой... Вот где сила воли, вот ума палата и всяких даров и качеств приятство!.. Да что! Разве среди нахлынувшей подобной заморской челяди удержишь сердце свято? А Петра Федорыча окружили какими наперсниками! Из Киля ему целое войско грубейших голштинских скотин вывезли. И начали его новые друзья, Цвейдели, да Штофели, да Катцау, отклонять от разумницы, преданной жены. Ее общество он променял на компанию своих капралов, на смехи да утехи с вертухой Лопухиной, с дочкой первоначального нашего злодея Бирона, с девицей Карр и с княжной Шаликовой... Государыня-тетка увидела все ясно, только уж было поздно. Она даже хотела выслать племянника опять за границу...

— Что вы? — спросил с удивлением Мирович.— Кого ж в таком разе объявили бы наследником?

Ломоносов посмотрел на него и вздохнул.

— Есть один... был,— сказал он, будто про себя.— И судьба ему улыбалась, столько было у его колыбели ожиданий, надежд... На пурпурной бархатной подушке дитятею его народу показывали, чеканили с его портретом монету, присягали ему, манифесты именем его издавали... Прочили русских ему учителей, и меня, низайшего еще в той поре студента, думали пригласить...

— Что ж он? умер?

— Умер или, вернее... живой погребен!.. Царственный узник!.. И жив, и вместе мертв...

— Как жив? Какой узник? Отчего ж он не правит? и где он?

— Не спрашивай об этом, голубчик ты мой, Василий Яковлевич,— когда-нибудь в другой раз! А лучше и вовсе никогда.